

〈№ 4. — Апрель 1859 года.〉

Размышления, выводимые из сравнения условий русского, австрийского и сардинского займов. — Конгресс по итальянскому вопросу. — Распускание парламента в Англии. — Баварские дела. — Почему не должно обвинять Пфортена. — Почему мы считаем Поврио страдавшим по собственной вине.

Россия заключила с английским домом Томсона Бонера и комп. заем в 12 миллион^{ов} фунт., в трехпроцентных облигациях по курсу 67.

Эти немногие слова внушат много занимательных размышлений человеку, следившему за биржевыми известиями в последние месяцы.

Прежде всего, он припомнит условия займов, заключенных в последнее время Австриею и Сардиниею.

Австрия заключила 5% заем по курсу 80; этот заем не пошел; его облигации продаются на три и даже на четыре процента ниже 80, и все-таки не находят покупателей.

Сардиния заключила также 5% заем по курсу 77; да и тот пошел благодаря не столько коммерческому расчету, сколько разгоряченному патриотизму самих сардинцев.

67 по 3% — это в переводе на 5% значило бы $111\frac{2}{3}$.

80 и 77 по 5% — это, при переводе на 3% облигации, значило бы 48 и $46\frac{1}{5}$.

Отчего такая громадная разница условий в пользу нашего займа?

Ответ ясен для каждого: разница в условиях происходит от разницы в назначении денег, получаемых через эти займы. Австрия и Сардиния занимают деньги на войну; Россия [начала переговоры о займе задолго до столкновений, которые начали угрожать войною Европе; пока не явилось официального объявления от нашего правительства о том, какое именно употребление предназначается займу. Мы не хотим отгадывать, которое из двух предположений, делаемых об этом иностранными биржами, есть предположение верное. Одни говорят, что заем будет употреблен отчасти] на усиление фонда, обеспечивающего кредитные билеты

[отчасти на продолжение выкупа этих билетов. Другие утверждают, что эти деньги предназначаются для облегчения выкупа, связанного с освобождением крепостных крестьян. Не будем вдаваться в неверные соображения о том, которое из двух предположений справедливо: на-днях мы, конечно, получим положительное разрешение этого вопроса в официальном объявлении нашего правительства, и мы можем терпеливо ждать этого разъяснения, потому что который бы из двух смыслов ни утвердило оно за займом, в том и в другом случае цель займа хороша. Если он должен улучшить отношения нашей монетной системы, — это благоразумно и прекрасно. Если он должен содействовать скорейшему окончанию выкупа освобождаемых крестьян, — это также благоразумно и прекрасно. В том и другом случае] деньги, получаемые нами через заем, получают употребление в высокой степени производительное: служат к улучшению нашей монетной системы, то есть к улучшению национального быта, содействуют развитию производительных сил государства; казна занимает деньги у капиталистов, чтобы раздать их, так сказать, взаймы всему населению государства, которое употребит их на уплату своих долгов, на основание промышленных предприятий, на введение лучшего порядка в свою торговлю, на лучшее устройство своих земледельческих работ. Каждый рубль, полученный государством за 3%, пойдет на дела, дающие народу облегчение или прибыль в 8, в 10, в 15 или 20%. Это хороший коммерческий оборот; каждый расчетливый человек одобряет такие обороты и с уверенностью дает на них деньги, потому что, получая их, должник доставляет ему развитием своего благосостояния вернейший залог в исправной расплате с ним. Такими займами не ослабляется, а возвышается кредит государства, потому что они свидетельствуют о заботливом государственном хозяйстве.

Да, очень замечательны условия нашего нынешнего займа. На лондонской бирже, которая, конечно, будет служить главным помещением ему, наши 5% облигации стоят ныне на 110½—111. Известно, что новый заем всегда негоцируется по курсу несколько ниже того, какой имеют прежние облигации; эта разница в цене есть необходимая уступка, служащая отчасти вознаграждением для банкирских домов, берущих на себя хлопоты о распродаже облигаций, отчасти приманкою для покупателей. Но, с другой стороны, надобно заметить, что по разным биржевым причинам, которые объяснять было бы слишком долго, облигации низшего процента имеют курс несколько более высокий, нежели какой должны были иметь по пропорции с облигациями высшего процента того же государства, если государство имеет долг с разными процентами. Например, французские фонды на парижской бирже 19 марта (нового стиля) продавались на наличные деньги по следующей цене: 4½% облигации — 94 фр. 50 сант.; пропорционально этой цене 3% облигации должны были прода-

ваться по 63 фр.; но действительно они продавались по 68 фр. 10 сант. Эта сравнительная высота французских 3% фондов уже слишком зависит от чрезмерной игры, производящейся исключительно на них. На лондонской бирже русскими облигациями игра не производится, и потому пропорциональная разница в цене между 3% (новыми) и 4¹/₂% (прежними) нашими облигациями не должна быть так значительна, как между соответствующими французскими фондами, и относительную высоту 3% фондов по сравнению с 4¹/₂% нельзя полагать более 2¹/₂ на 100. Последние курсы наших 4¹/₂% фондов на лондонской бирже были 100. По этой пропорции 3% должны бы иметь цену около 70. Заем произведен, как мы знаем, по 67, — это составляет уступку около 3 на 100, — уступка чрезвычайно малая, если мы примем в соображение значительный размер займа и, особенно, одновременное с ним требование займов другими державами, предлагающими гораздо большую уступку и гораздо выгоднейшие для банкиров условия. Франция, например, на своей бирже предлагала в последнее время уступку от 7 до 8 на 100; об Австрии и Сардинии мы уже не говорим: австрийские фонды перед займом стояли на 91 и 92, а заем не пошел даже по 80, и 23 марта австрийские 5% фонды на лондонской бирже стояли на 75.

Мы надеемся, что читателю эти цифры не покажутся сухими: в них очень много смысла, ясного и поразительного. Чтобы оценить политику, которой держались разные державы со времени возникновения слухов об итальянской войне, довольно будет сравнить нынешние курсы их фондов с теми, какие были на лондонской бирже в конце декабря, перед самым началом сардинско-французских угроз.

Фонды.	Курс в конце декабря 1858.	Курс 23 марта н. с. 1859.	Величина упадка.
Английские 3 ⁰ / ₀ . .	96 ³ / ₄	96 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂ ⁰ / ₀
Русские 4 ¹ / ₂ ⁰ / ₀ . .	100	100	0
Французские 3 ⁰ / ₀ . .	72,90	68,65	4,25 ⁰ / ₀
Сардинские 5 ⁰ / ₀ . .	94	82	12 ⁰ / ₀
Австрийские 5 ⁰ / ₀ . .	95	75	20 ⁰ / ₀

Англия и Франция находятся относительно кредита в положении гораздо более выгодном, нежели три другие великие державы: Австрия, Пруссия, Россия в случае больших займов должны обращаться к иностранным капиталистам, преимущественно в Лондон или Амстердам; Англия и Франция обходятся в этих делах без чужого содействия, собственными силами. Нет надобности говорить, что Англия далеко превосходит силою своего кредита самую Францию: парижская биржа едва может удовлетворять потребностям французского рынка и французской казны; лондонская биржа служит источником денег для всех нуждаю-

щихся держав, не только Европы, но даже Америки. Высота английских фондов, далеко превосходящая цену даже голландских и датских облигаций, показывает чрезвычайную прочность английского государственного кредита. Но даже английские фонды несколько поколебались от приготовлений к войне. Упадок их, совершенно незначительный, свидетельствует об уверенности английской публики в миролюбивом расположении своего правительства; упадок французских фондов, очень сильный, показывает, каким обременением для государства считает французское общество войну. Еще сильнее поражены сардинские фонды; но особенно страшно упали австрийские: капиталисты знают, что Сардиния в случае войны стала бы вести ее главным образом на счет Франции; Австрия должна была бы доставать деньги на войну сама, и потому ее финансовое положение гораздо затруднительнее, нежели положение Сардинии. Три державы, являющиеся главными действующими в походах, грозящих Европе, понесли уже в своем кредите потерю, пропорциональную прежней его твердости. Англия была бы в войне только союзницею Австрии, да и по своему положению не могла бы подвергнуться никакой прямой опасности. Но известно, что она не могла бы не принять участия в войне, и, несмотря на всю ее финансовую силу, ее фонды несколько опустились. Только русские фонды остались непоколебимы, только они одни сохранили в марте ту самую высоту, какую имели в декабре. Это от того, что Россия умела удержаться от обязательств, которые должна была сделать Англия: она может в случае войны сохранить нейтралитет, и вот этой-то счастливой возможности она обязана непоколебимым сохранением своего кредита *.

Непоколебимость наших фондов на иностранных биржах свидетельствует о характере той политики, которой мы держались среди затруднительных столкновений, волновавших Европу в нынешнем году. Подобно Англии, мы старались предотвратить войну; но мы были счастливее Англии отдаленностью своею от предполагаемого театра войны, и возможность нейтралитета для нас, не существующая для Англии, выразилась сохранением наших фондов в такой твердости, которая не могла удержаться даже за английскими.

* То же самое надобно сказать и о других державах, которым счастливое положение дало возможность так же, как России, не принимать участия в угрожающей войне. Вот лондонские курсы фондов этих держав:

Фонды.	[31] декабря.	23 марта.
Датские 3 ⁰ / ₁₀ . . .	84,7	84,7
Голландские 4 ⁰ / ₁₀ .	100,2	100,2

Только те державы, которые не принуждены участвовать в войне и не должны опасаться, что она приблизится к их пределам, были так счастливы, что сохранили свои фонды на прежней высоте.

Действительно, Россия умела идти самым надежным путем в недавних политических столкновениях: подобно Англии, она старалась предупредить их; но, будучи свободнее Англии удержаться от всякого участия в угрожающей войне, она имела возможность действовать с успехом более счастливым, нежели Англия: мы знаем теперь, что конгресс, который остается последним средством предотвратить войну, составляется вследствие предложений России. Англия старалась достичь подобного результата, но ее голос не мог иметь такого влияния, как голос России, потому что сама она была, по несчастию, запутана в эти раздоры. Оставаясь чужда им, Россия, как видим, внушает теперь более уважения и доверия к себе, нежели самая Англия. Будем же надеяться, что каким бы путем ни пошли события в Западной Европе, мы сумеем удержаться в том счастливом положении, которое умели сохранить до сих пор среди всех заискиваний, просьб, предложений и обещаний. Мы понимаем, что, как бы выгодны ни казались обещания, никогда, никакими выигрышами не могут быть вознаграждены пожертвования, которых стоило бы участие в войне. Мы понимаем, что, как бы ни были справедливы наши сочувствия, как бы основательны ни были наши антипатии, выше всех симпатий и антипатий должна быть для нас забота о благе собственного нашего государства. Мы можем не любить австрийцев, можем желать добра Сардинии; но мы знаем, что выигрыш для Сардинии от войны — дело еще загадочное, а потери и пожертвования, которых стоило бы участие в войне, могут быть высчитаны уже и теперь, до ее начала, или, лучше сказать, даже не могут быть вычислены, — так огромны были бы они. Погибель двух, трех или больше сот русских людей, жизнь которых так необходима для их семейств, производительный труд которых так полезен для нации; расстройство финансов, которые, слава богу, приведены теперь в порядок; ослабление или совершенное прекращение всех добрых начинаний, расстройство торговли и промышленности, на много лет разрушение возникающего благосостояния, — вот результаты, к каким привело бы нас участие в войне, мысли о которой мы, к нашему счастью, умели отвергать. Вся Сардиния не стоит таких жертвований. «Но мы были бы рады наказать австрийцев за их поступки с нами в Крымскую войну, за те притеснения, каким подвергают они славян своего государства и какие поддерживают над славянами в Турции». Все это так; мы не можем не желать добра славянам, а что касается до австрийцев, то не только мы, но и никто в Европе не питает к ним особенного расположения. Но благоразумие выше всего. Досада и презрение выражались бы слишком неудовлетворительно, если бы выражались так, чтобы приносить вред самому досадующему. Мы не любим австрийцев — это так, но искать войны, которая, как ни вредна была бы австрийцам, все же недешево обходилась бы и нам, это — дело совершенно иное.

Об этом не было бы нужды и распространяться, если бы корреспонденты французских газет не принуждали нас положительно заявить мнения русского общества своими, бог знает, откуда взятыми, известиями о каких-то будто бы воинственных желаниях русского общества. Берем наудачу одну из этих газет, еще очень рассудительную в сравнении с другими. Вот чем начинается новейшее письмо ее здешнего корреспондента:

«Слухи о войне здесь, как и у вас, по временам замолкают (пишет корреспондент *Indépendance Belge* из Петербурга 2 (14) марта), но с тою разницею, что здесь общественное желание вовсе не таково, как у вас: оно — не в пользу мира. Русские согласятся на все, с большою охотою согласятся на все, лишь бы только получить возможность померяться с австрийцами. От ожидания, от неуверенности, даже от боязни видеть это желание обманутым, оно усиливается с каждым днем; это чувство — повторяю свои прежние слова — распространено во всех сословиях» (*Indépendance Belge*, 25 марта).

Это чувство распространено во всех сословиях русского общества! Мы также принадлежим к одному из сословий русского общества, но вовсе не имеем такого желания; мы встречаемся с людьми из других сословий и ни в ком не замечаем такого желания. Кто желает войны, в самом деле? Желают ли крестьяне или мещане, чтобы явилась надобность в усиленных рекрутских наборах; или желают купцы, чтобы расстроилась торговля и пострадали все промышленные предприятия; или желают помещики, чтобы блокированы были наши порты, чтобы прекратился отпуск хлеба, сала и всех сельско-хозяйственных произведений за границу? Ни в одном из этих сословий мы не замечали таких удивительных желаний. Конечно, мы сумеем приносить нужные пожертвования, сумеем подчинить заботы о своем благосостоянии государственной необходимости, но только действительно нужные пожертвования, только для государственной необходимости. Если бы кто-нибудь вздумал нападать на нас, мы сумели бы отплатить за нападение. Но приносить ненужные пожертвования для удовольствия других, — это было бы нерасчетливо; начинать войну без необходимости не желает наше общество, благодарное правительству за его миролюбивую политику, приносящую нам столько выгод.

Но, продолжают французские газеты, могут быть предложены выгодные условия для участия в войне. Что отвечать на это? И надобно ли отвечать? Известна прочность тех союзов, в которых есть временная надобность приглашающему на союз, если приглашающий всеми прежними своими действиями уже доказал, что всегда имеет в виду исключительно собственные выгоды. Впрочем, кому интересно узнать об этом больше, тот найдет в приложении перевод статьи из газеты «*Humbug*».

Наконец, указывают на бедственное положение австрийских славян. Говорить откровенно об этом предмете — дело не легкое

у нас, потому что огромное большинство честных людей, в благородном сочувствии к нашим одноплеменникам, забывает об одном очень важном обстоятельстве, которое, как нам кажется, должно удерживать от желания прямых вмешательств в их отношения. Быть может, иные нас назовут противниками славян, защитниками австрийских немцев за то, что мы укажем на это обстоятельство и попробуем вывести из него заключение о том, до какой степени была бы полезна австрийским славянам наша помощь. Но мы просим людей, сочувствующих славянам, вникнуть в наши слова хорошенько, — нам кажется, что эти слова внушены нам именно любовью к славянам.

Славяне — наши одноплеменники, это правда; они гордятся нами, а мы любим их, и это правда; но не должно забывать, что вот уже целую тысячу лет они и мы жили отдельно друг от друга в условиях совершенно различных, и потому приобрели гражданские привычки и общественные потребности, далеко не во всем одинаковые. Недаром говорят, что русская история самым резким образом отличается от истории всех других европейских племен, в том числе даже и славянских. Государственные учреждения получили и сохраняют у нас форму, нисколько не похожую на все то, что когда-нибудь существовало или существует в Западной Европе. Западные славяне, смотря на нас издали, могут не замечать наших особенностей. Но мы должны знать себя лучше и должны понимать, могут ли наши формы соответствовать жизни и потребностям народов, участвовавших в европейской истории, которая так долго совершенно не касалась нас.

Мы нисколько не виноваты в том, что отстали от других европейцев; но не подлежит спору то, что народные нравы у нас грубее, нежели в Западной Европе. Возьмем факты из самых простых и близких отношений. Русский муж еще не отвык от того, чтобы бить жену; отец и мать вместе еще не отвыкли от того, чтобы женить сына или отдавать дочь замуж, не осведомляясь об их согласии. У других европейцев такие факты представляются только редкими исключениями, противоречащими общим обычаям народа. Своим языком чех может быть очень близок к нам, но по своему обращению с женой и детьми он гораздо ближе к немцу, испанцу и какому хотите другому европейцу, нежели к нам. От народных нравов зависят формы общественной жизни. Мы приведем только одну черту общественного устройства. Чехи успели уже давно забыть о тех формах общежития, которые связаны с крепостным правом; у нас оно только теперь уничтожается, и результаты его еще долго будут оставаться очень сильными в нашем общежитии. Поэтому надобно думать, что наша жизнь совершенно не соответствует потребностям и привычкам западных славян. Если они думают иначе, они ошибаются по незнанию. Если мы сами думаем иначе, мы доказываем только то, что забываем об особенностях нашей жизни или не умеем ценить их по

достоинству. Наши казанские татары могут говорить наречием очень близким к языку бухарцев и киргизов, но они привыкли жить совершенно иначе, нежели их восточные соплеменники, и надобно думать, что разница нравов поставила между ними преграду, разрушение которой не могло бы быть полезно для казанских татар. Конечно, этот пример вовсе не может служить параллелью; но мы хотели только сказать, что западные славяне участвовали в европейской истории гораздо долее и гораздо ближе, чем мы, и потому приобрели нравы и требования, соответствующих которым мы не находим у себя.

Конечно, мы этим вовсе не хотим сказать, что их настоящее положение хорошо или жалобы их на Австрию несправедливы. В сочувствии к бедствиям австрийских славян мы не уступим никому. Но мы желали бы только, чтобы сами славяне хладнокровнее рассуждали о средствах улучшить свое положение, а главное, чтобы они точнее изучали нашу жизнь с ее особенностями. По географическому положению самыми естественными посредниками в таком изучении должны служить поляки¹. Теперь читателю, может быть, хотя бы до некоторой степени, известны основания, по которым и самое горячее сочувствие к австрийским славянам не представляется для нас побуждением одобрять вызовы французских газет к войне с Австриею. Не из особенного расположения к австрийским немцам, а из заботливости о судьбе самих славян мы находим, что они должны рассчитывать исключительно на свои силы для произведения улучшений в своем быте.

Читателю может казаться, что все наши соображения относительно войны запоздали. Многие ожидают теперь мирного разрешения всех дипломатических затруднений от конгресса, который должен собраться по итальянскому вопросу². Но мы остаемся при прежних наших объяснениях об истинных причинах войны; в этих причинах не произошло ни малейшего изменения, стало быть, все дипломатические фазисы этого дела представляются нам касающимися только форм и оставляющими без перемены сущность отношений. Посмотрим, что будет делать конгресс; и если Сардиния в союзе с Наполеоном III удержится от войны, мы скажем, что конгресс успел совершить неимоверно трудный подвиг.

Мы не считаем особенно полезным делом перечитывать длинные депеши, в которых обыкновенно очень тонко излагаются мелочи и совершенно умалчивается сущность дела; точно так же едва ли есть особенная надобность тратить время на угадывание дипломатических комбинаций и проектов, содержащихся в секрете: то, что есть в них действительно важного, бывает обыкновенно известно всем, а то, что остается секретом, относится почти всегда только к формам, которые не изменяют сущности дела, каковы бы ни были. Так, два месяца тому назад мы не считали нужным исследовать, действительно ли заключен и в какой

форме заключен письменный трактат о союзе между Францией и Пьемонтом на случай войны; мы полагали, что письменное условие существует, а в какой форме и под каким заглавием писано оно, — это все равно; прибавляли даже, что если б и не существовало особенного документа, устанавливающего такой союз, опять-таки было бы все равно, потому что сущность союза была бы изложена и гарантирована в каких-нибудь нотах, не принадлежащих по своему заглавию к так называемым трактатам. Нам также не казалось полезным напрягать усилия для отгадывания формальных оговорок, под которыми Франция обещает вооруженную помощь Сардинии, потому что оговорки и условия перетолковываются так или иначе, исполняются или не исполняются сообразно с отношениями и событиями, известными решительно каждому читающему хотя бы «Санктпетербургские» или «Московские Ведомости». Например, все равно, оборонительный и наступательный или только оборонительный союз заключен на бумаге: если будет выгодно подать помощь, то и наступательная война окажется оборонительной, а если невыгодно, то и в оборонительной войне окажутся обстоятельства, уничтожающие приложимость договора. Мы говорили, что сущность дела при договоре и без договора и при всякой форме договора остается одна и та же, известная всем: Пьемонт хочет войны, французское правительство хочет помогать ему и действительно будет помогать, если не возникнут события, которыми уничтожились бы необходимость и возможность той политики, которую Наполеон III обнаружил на церемонии 1 января; это равнодушие к дипломатическим тайнам оправдалось теперь фактами. Франция, наконец, призналась, что союз существует, но что он только оборонительный, а с тем вместе слову «оборонительный» придается такое значение, что если Пьемонт двинет свои войска в Ломбардию и австрийцы будут принуждены обороняться, то все-таки будет объявлено, что Пьемонт ведет войну не наступательную, а только оборонительную: если так истолковываются формальные условия трактатов, то не все ли равно, как если бы не существовало никаких условий и никаких трактатов, а действия сообразовались бы только с отношениями и выгодами? В сущности оно так и бывает. Мы упоминаем о наших прежних словах вовсе не для хвастовства проницательностью или предусмотрительностью: хвастаться нам тут никак нельзя, во-первых, потому, что не мы сами изобрели соображения, оказавшиеся верными, а только нашли их в газетах, считающихся хорошими в Западной Европе; во-вторых, и газетам этим не было нужды в особенной проницательности для представления принятых нами соображений, естественно вытекающих из всех фактов новой политической истории. Мы только хотели привести пример, которым оправдывался бы излагаемый нами теперь взгляд на значение собирающегося ныне конгресса в развитии итальянского вопроса.

Мы хотим сказать, что и от этого конгресса, как ни важен кажется он, не должно ожидать сильного влияния на ход событий, а тем менее надобно придавать особенную важность тем из относящихся к нему подробностей, которые еще не обнародованы. Корреспонденты газет могут представлять догадки и споры об этих частностях, но подобные толки пригодны только для занятия разговорами от нечего делать.

Например, где соберется конгресс? В Баден-Бадене, Брюсселе, в Аахене, как говорили прежние известия, или в Карльсруэ, как утверждают последние известия? Нам кажется, что этим должны интересоваться только лица, которым надобно будет ехать в город, избранный местом конгресса; да и для них вопрос важен только в том отношении, имеет ли город этот хорошие гостиницы с удобными квартирами, хорош ли климат в городе и представляются ли в его окрестностях приятные пейзажи для прогулок. Какие лица будут уполномоченными на конгрессе? Действительно ли сами министры иностранных дел съедутся на совещание или вместо них будут заседать какие-нибудь другие дипломаты? И это все равно: как бы то ни было, конгресс будет составлен из уполномоченных очень высокого сана, т. е. будет иметь очень высокую официальную торжественность. Но, может быть, важнее вопрос о том, составится ли конгресс только из уполномоченных пяти великих держав или будут допущены, в товарищи к их уполномоченным, уполномоченные Сардинии? И если будут допущены сардинские уполномоченные, то с полным делиберативным или только с консультативным голосом? И в последнем случае будет ли дан консультативный голос и другим итальянским государствам? Или конгресс, составляемый исключительно пятью великими державами, предложит итальянским государствам образовать отдельную конференцию, мнения которой будут спрашиваться конгрессом, когда он почтет нужным? — Обо всем этом спорят, как однажды при нас очень образованные люди горячо спорили о том, надобно ли писать «Житомир» или «Жи́томір»? Положительно утверждают, что Франция требует, а Австрия отвергает допущение Сардинии шестою державою в конгресс с делиберативным голосом. Но что Франция хочет этого, а Австрия не хочет, это каждый из нас мог бы знать и сам, хотя бы ни слова не говорилось о том в газетах. Чем решится это разноречие и другие спорные пункты, решительно все равно: хотя бы голос на конгрессе был дан не только Сардинии, но также Испании, Португалии, Швеции и даже княжествам Вальдекскому и Книпгаузенскому, все-таки ход переговоров будет исключительно зависеть от расположений пяти великих держав; и наоборот, хотя бы Сардинии не дали не только делиберативного, но и консультативного голоса, все-таки каждая из пяти великих держав будет сообразоваться в своих расположениях с силами и на-

клонностями тех второстепенных государств, которые замешаны или могут быть замешаны в это дело.

Но кроме вопросов о форме конгресса есть споры о том, каковы будут предметы его совещаний и к чему могут привести эти совещания в том случае, если Франция и Пьемонт найдут удобным отказаться от разрешения вопроса вооруженною рукою. Тут опять все существенное ясно из общеизвестных фактов, а все составляющее дипломатическую тайну вовсе не важно. Австрия согласилась участвовать в конгрессе, — из этого видно, что суду конгресса будут подлежать, по его формальным условиям, только итальянские государства, а не сама Австрия: если бы конгресс собирался за тем, чтобы решить, должна ли Австрия сохранить свои итальянские провинции или должна возвратить им независимость, Австрия не согласилась бы на конгресс. Итак, конгресс собирается формальным образом для рассмотрения внутреннего положения Папской области, Тосканы и Модены, отчасти Неаполя и Пармы. Начнут рассуждениями о том, какие надобно сделать улучшения в администрации этих государств, чтобы правительства их приобрели расположение своих подданных и могли держаться на своих ногах, не опираясь на австрийские и французские штыки. Угодно ли знать, к чему приведут эти совещания? Подвергнутым обсуждению правительствам даны будут советы двоякого рода: во-первых, исправить недостатки их законодательства и администрации, во-вторых, усилить и преобразовать военную силу для охранения порядка при новых законах и улучшенной администрации. На первые советы итальянские правительства дадут ответ, что вполне им сочувствуют, но что, к сожалению, разные неблагоприятные обстоятельства препятствуют их исполнению в настоящее время; второй совет они также одобряют и по возможности исполняют его. Конгресс решит, что так как второе дело, т. е. сохранение порядка, составляет основу первого, т. е. законодательных улучшений, то французские и австрийские войска должны быть выведены из итальянских герцогств, из легатств, из Рима и Чивита-Веккии, когда домашние правительства этих земель устроят свои войска до надлежащей степени, и совет этим правительствам ускорить по возможности такое дело послужит заключением совещаний и решений конгресса по этому предмету.

Но ограничатся ли занятия конгресса этим предметом? — Нимало. Правда, по формальным основаниям, принятым для конгресса Австриею и Франциею, без сомнения, определено, что не должно быть речи о внутренних делах Австрии и Пьемонта, потому что оба эти государства — державы самостоятельные, не нуждающиеся в чужой помощи для охранения порядка, стало быть, вмешательство других держав в их внутреннюю политику было бы нарушением этикета, принятого так называемым международным правом. Но это все равно. Сардиния и Франция от

имени Сардинии будут жаловаться на Австрию, Австрия — на Сардинию. Обе стороны будут сваливать одна на другую необходимость вооружений, сделанных ими. Австрия будет говорить, что политика нынешнего сардинского кабинета противна спокойствию Европы, т. е. будет косвенным образом предлагать замену Кавура предводителями правой стороны, которые сами по себе могут быть совершенно честны, но опираются на иезуитов и абсолютистов. Сардиния будет требовать в управлении Ломбардо-Венецианскими провинциями таких изменений, при которых Австрии не было бы надобности содержать в Италии сильную армию. Австрия на это будет отвечать, что сделала все, что могла, что ни в Ломбардии, ни в Венеции нет недовольных, а, напротив, все очень довольны австрийским правлением, а что если есть между 5 миллионами ее итальянских подданных каких-нибудь сотни две недовольных, то это — люди беспокойного характера, дурных мыслей, неблагонамеренные интриганты и честолюбцы, которых никто из миланцев и венециан не слушает, и что сильную армию в Италии должна содержать она вовсе не по недовольству своих итальянских подданных, а только для ограждения себя от честолюбивых замыслов Пьемонта. Австрия имеет 700.000 войска, стало быть, вывести ее на иной путь нельзя иначе, как силою оружия. С Пьемонтом было бы можно справиться и так называемым моральным принуждением, но он опирается на Францию, стало быть, и его нельзя словами сбить с его уверений, что переменить политику ему невозможно и что, впрочем, его политика совершенно миролюбива. Что же тут будет делать конгресс? Разноречие так и остается разноречием; конгресс разойдется, склонив враждующие державы разве к тому, чтобы та и другая сторона обещались не начинать военных действий и отвести свои войска на несколько миль от границы. Только и сделает конгресс по этому вопросу, в котором и заключается сущность дела. Впрочем, напрасно мы говорим, что он сделает это, — это уже сделано: обещания не начинать войну даны с обеих сторон и посланы или на-днях будут посланы приказания тем или другим войскам отступить от границы. Стало быть, в сущности, все уже сделано, что мог бы сделать конгресс. Или нет, мы опять ошибаемся: он может потребовать возобновления и усиления как миролюбивых обещаний, так и приказаний об отступлении. Особенно последнее, вероятно, понадобится; известно, что генералы по какой-то странности не всегда слушаются приказаний, передаваемых военными министрами по желанию министров иностранных дел. Например, австрийскому генералу Шварценбергу и прусскому генералу Йорку в 1812 году много раз приказывали делать так, а они все-таки делали иначе.

Словом сказать, конгресс — просто отсрочка, на которую Австрия согласилась для того, чтобы не сказали, будто она отвергает пути к примирению, а Франция — для того, чтобы занять чем-ни-

будь время до тех пор, пока Франция сообразит, удобно ли ей начинать войну, или, если она уже решила это, то пока она кончит свои вооружения и устроит свои отношения к другим державам так, как ей хочется.

Все эти отношения остаются совершенно в прежнем виде, кроме разве той перемены, что три великие державы, являющиеся посредницами, теснее сблизилась между собою. Но мы выражаемся об этом фразою вовсе не положительною: чтобы говорить наверное, нужно было бы точнее, нежели мы знаем, знать взгляд одной из великих держав на политику Франции в настоящую минуту. Вот это единственный неизвестный наверное пункт дела, а многое от него зависит, потому что если бы между тремя державами было то же согласие, существование которого известно о двух из них, именно об Англии и Пруссии, то шансы мира несколько увеличивались бы³.

Впрочем, и тут мы ошибаемся. Настоящее расположение нейтральных держав известно с достаточной точностью, и, говоря о том обстоятельстве, от которого увеличивались бы шансы мира, можно только желать его в будущем, потому что, если бы совершенное согласие между нейтральными державами существовало теперь, этот факт не мог бы скрываться и двух недель: газетные известия обнаружили бы его тотчас же, а прения в английском парламенте через несколько дней подтвердили бы достоверность слухов. Но этого нет, а, напротив, несомненные признаки показывают, что нейтральные державы держатся в различных положениях относительно распрей между Франциею и Австриею.

Потому надобно думать, что согласие на конгресс еще не уменьшает вероятность войны. Такой взгляд на положение дел подтверждается и состоянием курсов: они не поднимаются или, поднявшись, тотчас же падают; это значит, что западные биржи мало верят в близость примирения. Другим свидетельством решимости на войну служит то, что Франция не останавливает своих вооружений, напротив, в последнее время сделаны распоряжения, еще прямее прежних указывающие на близость войны. Французские войска сосредоточиваются на юге все в большем количестве. Говорят, что теперь в Лионе и в окружности его расположено до 120.000 человек, которые могут быть собраны в одну массу в течение 12 часов. Из Алжирии продолжают перевозить во Францию самые отборные боевые войска; между прочим, привезены тюркосы, стрелки из алжирских туземцев, нечто вроде прежних зуавов. До сих пор тюркосы не были выводимы из Алжирии, и надобно полагать, что их не стали бы тревожить понапрасну. Наконец, надобно заметить, что во всех французских пехотных полках формируются теперь четвертые батальоны. О том, что продолжают вооружения в Сардинии и соответственные им вооружения в Австрии, не надобно и говорить.

Словом сказать, у Франции и у Сардинии остаются прежние побуждения к войне, стало быть, вероятность войны остается прежняя. В каком-то салоне Гизо очень метко характеризовал необходимость воинственной политики для нынешней французской системы словами: «*c'est une impossibilite inévitable*» — «это неизбежная невозможность». Действительно, вести войну против желания нации, войну, в которой союзниками Австрии будет Пруссия, Англия и вся Германия, и притом такую войну, которая разбудит в Италии принципы, противоположные основаниям нынешней французской системы, — это очевидная невозможность; но в то же время без войны обойтись нельзя, она представляется единственным средством продлить существование нынешней системы. Положение очень затруднительное, и, как выйдет из него Франция, мы не знаем. Правда, есть выход: устранение из французской жизни элементов, своим противоречием с ее потребностями ведущих ее на войну, которая бы своим шумом заглушила противоречия. Есть причины думать, что этот выход ближе, нежели обыкновенно полагают⁴. Усилия нейтральных держав могут отсрочить войну на три, на четыре месяца; тогда будет поздно начинать поход, и Франция может сказать, что, твердо решившись на войну, она откладывает ее до весны. Это будет средством продолжить шум внешней политики, т. е. уклониться на некоторое время от невозможности, соединенной с неизбежностью; это многие находят правдоподобным. Но если бы случилось так, то в течение года могли бы исчезнуть из французской жизни элементы, ведущие к войне, потому что их недолговечность обнаруживается. Если же нет, — война остается неизбежностью. Близости изменения, о котором мы говорим, верят не многие; но случиться ему не так трудно, как полагают поверхностные наблюдатели. Мы возвратимся к этому предмету впоследствии, а теперь обратимся к событиям во внутренней политике другой державы, которая спорит с Францией за политическое преобладание в Западной Европе.

Теперь (26 марта) мы еще только по телеграфическим депешам знаем, что английское министерство, потерпев поражение по вопросу о реформе, объявило, что распустит парламент. Мы еще не имеем подробных известий о том, какие позиции приняты были разными партиями в последнюю минуту борьбы и в каком положении каждая из них увидела себя по окончании битвы. Мы можем пока довести рассказ о формальных действиях в зале палаты общин только до дня подачи голосов о предложении Росселя; сведения наши о развитии внутренней стороны этого вопроса кончаются еще двумя или тремя днями ранее; но если мы принуждены отложить до следующего раза многие подробности, которые были бы очень уместны здесь, то все-таки можем уже довольно отчетливо понимать положение дел, о котором сообщены отрывочные известия телеграфическими депешами.

Читатель знает, что торийское министерство держалось только помощью независимых либералов, которые получали от него больше уступок, нежели имели от Пальмерстона; знает также, что когда в решительном деле, в билле о реформе, Дерби и д'Израэли выказали, наконец, свою натуру, т. е. отсталость и обскурантизм, независимые либералы, в лице Робака, объявили, что лишат их своей поддержки, если они не покаются в своих грехах. Читатель знает также, что предводителем парламентской оппозиции против билля явился Россель, оттеснив Пальмерстона на второй план. Независимые либералы, как мы говорили, обещали ему поддержку, чтобы отвергнуть торийский билль. Теперь видно, что после того между Росселем, т. е. партией чистых вигов, и Брайтом, т. е. независимыми либералами, велись переговоры о том, что делать после поражения торийского министерства. Брайт указывал сущность этих переговоров, когда на митинге в Манчестере (17 марта) объявлял, что лорд Россель может, если ему угодно, сделаться главою министерства, но что необходимым условием к тому ставится для него принятие в кабинет новых людей, составление такого кабинета, который бы не имел исключительного аристократического характера, до сих пор принадлежавшего всем без исключения английским кабинетам. Это значило требовать от Росселя слишком далекого отступления от аристократических обычаев. Через несколько времени вигам нельзя будет обойтись без такой уступки, но теперь они не согласились на нее, не захотели впустить в кабинет Брайта и Робака; зато Брайт и Робак не отворили им самим двери в кабинет. Это одно из трех обстоятельств, объясняющих развязку битвы. Несмотря на все взаимные огорчения, которые Россель и Пальмерстон наносили друг другу, Россель все-таки предпочел, разорвав переговоры с Брайтом, начать переговоры с своим соперником между вигами. И тут дело не удалось, чего и следовало, разумеется, ожидать: Россель и Пальмерстон оба были первыми министрами, оба хотят вступить в кабинет не иначе как первыми министрами. Историю их переговоров довольно забавно изложил *The Weekly Magazine* в шутовском стихотворении «Политическое слияние», *The Political Fusion*:

«Пальмерстон сказал Росселю: — «Джон, мы слишком долго оставались врагами; вот теперь есть нам обоим случай послужить отечеству и королеве, — не себе самим послужить, — в нас нет таких низких мыслей. (Тут он подморгнул.) Мы не ищем власти, Джон».

Тогда Россель сказал Пальмерстону: — «Одобряю твою мысль; соединившись, мы легко столкнем лорда Дерби с должности; разумеется, мы сделаем это не из желания получить место; такого своекорыстия мы стыдились бы. (Тут он тоже подморгнул.) Единственная наша цель быть полезным отечеству».

— «Хорошо, — сказал Пальмерстон, схватив руку Росселя: — наконец-то мы поняли друг друга, и я горжусь тем». На это Россель сказал Пальмерстону: — «Мы тотчас же устроим эту штуку и в минуту выгоним дербнистов».

— «А кто же будет первым министром? — сказал Пальмерстон: — зна-

чит, я?» — «Ну вот, — поспешно возразил Россель. — Я решительно не вижу, почему же ты; разве я хуже тебя?» — «Гораздо лучше меня ты, Джон, но министром внутренних дел ты будешь чрезвычайно дельным».

— «Нет, ты, милый Пальмерстон, — самая яркая звезда в иностранной политике. Не скромничай, мой друг; весь свет знает это. Так вот, я буду первым министром, а ты занимайся иностранными делами». — «Ну, нет, брат, погоди», — возразил Пальмерстон.

И мог бы произойти из этого жаркий спор, но Пальмерстон быстро вытащил из кармана пенни и бросил вверх. «Решотка», сказал Россель. Пронгрэш или выигреш выпал ему, — это мы скажем, когда они войдут в кабинет».

От исторической истины отступает этот рассказ только тем, что Россель и Пальмерстон не придумали разрешить спорного пункта посредством орлянки. До последней минуты Пальмерстон оставался враждебен Росселю, и на этом основывалась надежда Дерби получить от него защиту. Это было вторым обстоятельством, определившим развязку дела.

Впрочем, не надобно обольщаться этими насмешками и верить, что в самом деле спор, например, между Росселем и Пальмерстоном за то, кому быть первым министром, относится исключительно или главным образом к личному честолюбию. Оно может играть тут свою роль, но простор для него невелик: за тем и за другим предводителем стоит партия, политику которой он обязан проводить; эта партия решает, как должен действовать ее предводитель во всех важных случаях, и его личное честолюбие служит, как и его таланты, только орудием к осуществлению известной политики. Общая политика кабинета определяется мнениями первого министра, т. е. той партии, которая действует через него. Переговоры шли о том, которому из двух отделов вигистской партии взять перевес над другим, и могут ли они примириться настолько, чтобы один отдел видел исполнение своих основных убеждений в действиях другого. Если бы партии сошлись в своих убеждениях, они заставили бы своих предводителей примириться или отвергли бы их. В дальнейшем рассказе будет пример того, как личные желания предводителя партии должны смиряться перед требованием партии, представителем которой он служит. Если нельзя считать личное честолюбие важным двигателем даже во взаимных отношениях партий, столь мало разнящихся по убеждениям, как пальмерстоновские и росселевские виги, то еще гораздо менее участие личного честолюбия в борьбе или переговорах партий, существенно разнящихся между собою по убеждениям, как, например, тори и виги или виги и независимые либералы. Само собою разумеется, что если Россель, т. е. его отдел вигов, не согласился дать Брайту и Робаку тех мест в кабинете, которых они требовали, тут вопрос был не о том, что некоторым значительным вигам по личному расчету неприятно было отдать другим людям министерские места, кандидатами на которые считали они себя, — если б они лично и подчинялись такому

своекорыстию, партия умела бы укротить его или обратить непокорных в совершенное ничтожество. А у Робака или Брайта личное честолюбие уже совершенно исчезает перед торжеством принципа: Кобдена или Брайта ввести в кабинет, это все равно и для Кобдена, и для Брайта; тут дело не в том, я или ты получаешь личное возвышение, а только в том, что получает правительственную силу принцип, защищаемый обоими. Точно так же, если бы, например, велись переговоры между вигами и тори, важность была бы не в том, Дерби или д'Израэли требует себе известного места, а только в том, дается ли известное место — все равно — тому или другому из них. При всем своем честолюбии д'Израэли должен был бы совершенно забыть тут личный вопрос.

К литературным делам мы несколько привычнее, нежели к политическим, и потому характер подобных сближений, переговоров и разрывов мы можем до некоторой степени объяснить сравнением их с литературными случаями. Положим, например, что основывается новый журнал; положим, что его редактором делается человек так называемых западных мнений. Если он приглашает к участию в журнале кого-нибудь из славянофилов, это значит не то, что между ними существуют личные хорошие отношения, а только то, что журнал по обстоятельствам времени хочет защищать такие принципы, которые выше предметов несогласия между обеими партиями, например, гласность или освобождение крестьян, или улучшение судостроительства, и не будет обращать почти никакого внимания на те предметы, в которых две партии несогласны. Если кто-нибудь из славянофилов принимает предложение, это значит, что вся партия его одобряет образ действия, предполагаемый журналом. Само собою разумеется, мы предполагаем приглашающего редактора и приглашаемых сотрудников людьми дельными, пользующимися значительным положением в своей партии: о людях ничтожных никто не хлопочет, никто их не приглашает и никто не принимает приглашений, делаемых ими. Посмотрим же теперь, могут ли иметь личные расчеты важное место в таком деле. Что было бы, например, если бы сотрудник-славянофил согласился участвовать в журнале не для проведения мыслей, которым сочувствует его партия, а только по денежным выгодам или по тщеславию, т. е. если бы он принял участие в журнале без одобрения своей партии. Люди, сочувствующие славянофилам, не сочувствовали бы тогда журналу; сотрудник был бы бесполезен для журнала, т. е. играл бы в нем жалкую роль; даже его тщеславие было бы разочаровано, и он скоро бы отказался, если бы еще раньше того редактор не отказал ему, как человеку бесполезному. Таким образом, даже тут, в деле маловажном по сравнению с управлением национальною политикою, личные отношения и расчеты не могут иметь важного значения перед интересами принципов. Нечто подобное, только в гораздо значительнейших размерах, бывает сущностью перегово-

ров между важными людьми политических партий в Англии при составлении министерства.

Быть может, мы слишком заботились о разъяснении отношений, из которых возникли два обстоятельства, имевшие влияние на развязку прений по биллю о реформе. Мы хотели показать, что в переговорах между Росселем и Брайтом, между Росселем и Пальмерстоном о составлении нового министерства дело шло не о личных отношениях, а собственно о степени влияния, какое должны иметь на политику составлявшегося кабинета различные политические принципы. Если один требовал себе и своим приверженцам известных мест в кабинете, другой не находил возможным пожертвовать этими местами, желая оставить их за собою и своими кандидатами, — лица тут были только представителями принципов; вопрос об известных местах для лиц был вопросом о степени влияния принципов известной партии на политику. Быть может, читателю не было надобности в наших объяснениях, чтобы не ошибаться в этом и не предполагать силы личных отношений и расчетов там, где говорится у нас о лицах. Фамилия тут служит только для краткости выражения вместо слов «партия, имеющая такие-то убеждения и выбравшая своим органом такого-то человека». Третье обстоятельство, имевшее влияние на развязку дела, будет ясно для каждого без всяких объяснений.

При неизвестности того, войною или миром разрешится итальянский вопрос, и в Англии, как повсюду, люди совершенно одинаковых мнений обо всем могут думать различно о степени вероятности того или другого решения. Это зависит от степени оптимизма или пессимизма в характере и от степени личного знакомства с европейскими дипломатическими отношениями. Если предполагать, что война не только неизбежна, но и не будет отсрочена на три-четыре месяца, а вспыхнет на-днях, то, конечно, англичанин не должен желать распущения парламента, потому что присутствие парламента вовсе не ослабляет правительство, или, по английскому выражению, «корону», как у нас многие полагают по совершенному незнанию, а, напротив — чрезвычайно усиливает могущество «короны». Королева Виктория и ее королевство не имели бы и половины того могущества, каким теперь обладают, если бы у них не было парламента⁵. У нас все думают только о том, что парламент стесняет министерство, или, по английскому выражению, «правительство» и «администрацию». Напротив. Повеление, подписанное Наполеоном III, не имеет во Франции десятой части той действительной силы, как повеление, принятое королевою Викториею в Англии. Для людей, обманываемых формами, это кажется странно; но стоит только подумать о сущности дела, и мы увидим, что оно так и непременно должно быть так. Фульд или Валуевский очень часто в душе не желали бы исполнения тех мер, исполнение которых поручается им. Как

же будут исполнены эти меры? Обыкновенно исполняются они без усердия, часто искажаются, еще чаще исполняются только для формы, так что на деле производится вовсе не то, о чем отдано приказание и об исполнении чего подается отчет на бумаге. Франция в значительной степени имеет право называться бумажным царством. Подумаем только о том, какому ослаблению, искажению и пренебрежению должно подвергаться там в исполнении каждое дело, проходя по разным инстанциям, сверху вниз, когда сам министр часто делает под рукою все возможное для ослабления меры, когда из 87 префектов половина враждебна в душе министру, другая половина считает себя умнее его, и когда все они знают, что даже сам министр требует исполнения только на бумаге, и когда, наконец, каждый префект находится к исполнителям, своим подчиненным, в таком же положении, как министр к префектам, т. е. должен действовать через людей, нисколько не сочувствующих ни ему, ни предмету его приказаний. Правительство действует в потемках, не зная, на кого может положиться, и в большей части случаев не имеет усердных исполнителей, не имея в то же время и средств удостовериться, действительно ли приказания исполняются. Ничего подобного, никакой подобной путаницы и бессилия, нет при парламенте. Каждое распоряжение принимается целою партией, т. е. бесчисленным множеством людей во всех классах общества, как личное дело каждого из них; и каждый из них всячески содействует надлежащему его исполнению. Обязательство в этом уже наперед дано ими, еще до обнародования распоряжения, и дано оно с действительным желанием дать и исполнить его. Опора парламента так сильна, что правительство, или «корона», заметно ослабевает даже в те короткие промежутки, которые бывают между сессиями парламента. Два или три месяца тому назад «корона» удостоверялась, что ее повеления исполняются усердно и добросовестно; но этого короткого периода бывает достаточно, чтобы она утратила часть той основательной самоуверенности, которая сообщалась ей присутствием парламента. И только когда он соберется снова, чувствует она возвращение своей прежней силы.

Шум производят вообще только те дела, относительно которых мнение не установилось; в чем все согласны, о том не бывает длинных разговоров. Потому и до нашего слуха доходят только те дела парламентской жизни, в которых парламент разделен на партии; но не должно забывать, что, кроме этих шумных дел, происходит множество других, гораздо важнейших, о которых никто не спорит, в которых «корона» не слышит от парламента ничего, кроме единодушного одобрения и искренних обещаний его сильной помощи. Читатель может вспомнить, как парламент отвечал на изложение действий «короны» по итальянскому вопросу: члены всех партий в один голос сказали: «да, совершенно так; каждый из нас действовал бы точно так же, мы все содействуем

«короне», и что бы ей ни понадобилось, она ни в чем не будет иметь недостатка». Об этом случае мы узнали, потому что им интересуется не одна Англия, но и весь континент; но каждый день решаются с таким же согласием дела, не касающиеся до других держав и важные только для самой Англии. Например, все суммы, нужные правительству, вообще получаются без всякого затруднения.

Но возвратимся к нашему рассказу. Мы видели, что в присутствии парламента правительство гораздо сильнее и смелее, нежели в те промежутки, когда оно не может ежедневно удостоверяться в сочувствии представителей нации. Поэтому люди, ожидающие войны на-днях, не хотели бы поставить вопрос о реформе так, чтобы от него произошел перерыв в заседаниях парламента, хотели бы придать ему такой мягкий оборот, чтобы министерству не было надобности распускать нынешний парламент и назначать новые выборы; а распускание парламента представлялось одним из шансов, возникающих от принятия большинством таких предложений, на которые министерство не изъявило своего согласия. Такие люди были и между вигами, и между тори; но тори и без того подавали голос за министерство; виги все-таки должны были поддерживать предложение, клонящееся к замене торийского министерства их собственным. Потому влияние на способ подачи голосов могло оказываться от этого обстоятельства только между независимыми либералами. Когда расстроились их переговоры с Росселем, т. е. вступление их самих в кабинет, они остались равнодушными к вопросу о перемене министерства, и некоторые из них решились подать голос за торийское министерство только для того, чтобы правительство не оставалось без помощи парламента в столкновениях по итальянскому вопросу. Важнейшим из таких людей был Робак.

Имея в виду три обстоятельства, изложенные нами, можно довольно ясно понимать причины, которыми была приведена развязка дела, пртивная и желаниям министерства, и желаниям, по крайней мере, двух третей членов палаты общин.

В парламентских прениях прежде всего обнаружилось влияние последнего из обстоятельств, замеченных нами. Еще задолго до собрания парламента на шеффилдском митинге по вопросу о реформе Робак, депутат Шеффилда, уже выразил свое мнение, что итальянский вопрос своею затруднительностью должен в совещаниях парламента взять верх над делом о реформе. Он полагал даже, что парламент, развлеченный войною, не успеет заняться реформою. Война не вспыхнула так рано, как он опасался, но все-таки он думает, что со дня на день надобно ждать ее, и потому присутствие парламента необходимо для «короны». Когда приблизился срок, назначенный для прений о предложении Росселя, которым могло быть министерство низвергнуто или принуждено распустить парламент, Робак почел своею обязанностью

сделать усилие для предотвращения такой необходимости. За три дня до начала прений о предложении Росселя он сказал, что хочет обратиться с советом к лорду Росселю и к министерству. Образ действий, принятый лордом Росселем, сказал он, должен повести к перемене министерства или распусшению парламента.

«Перемена министерства при нынешних обстоятельствах, — продолжал он, — может произвести страшные бедствия на континенте; распусшение парламента может произвести немедленный взрыв войны. Почему так, позвольте мне объяснить. Европа не понимает Англии. Она подумает, что от распусшения палаты общин все партии расстроились в своих отношениях и что исчезло могущество общественного мнения в Англии, а мир в Европе держится силою английского общественного мнения (аплодисменты). Если только Европа подумает, что сила эта исчезла, на другой же день возникнет хаос и кровопролитие в целой Европе (браво!). Сильно занятый этими соображениями, я прошу благородного лорда (Росселя) оставить тот путь, по которому он хотел идти. От него зависят теперь судьбы нашей земли, и путь, им избранный, может навлечь на нас неисчислимые бедствия».

Потому Робак просил Росселя поступить теперь так, как он поступил в прошедшем году в индийском вопросе. Индийский билль Дерби так же, как теперь вопрос о реформе, возбудил против себя неудовольствие в большинстве палаты. Чтобы дать министерству возможность избежать формального порицания палаты, Россель предложил ей, прежде нежели займется она этим биллем, обсудить независимо от него важнейшие стороны дела, чтобы министры могли составить новый билль сообразно этим решениям. Таким образом, закон был составлен в смысле большинства, противного первоначальным идеям министерства, а министры все-таки избежали формального столкновения с большинством, и не нужно было им ни выходить в отставку, ни распускать парламент. Робак просил Росселя и теперь поступить подобным образом, т. е. 21 марта, в день, назначенный для второго чтения билля, предложить парламенту вместо прений о билле заняться составлением отдельных решений по главным пунктам вопроса. Россель не согласился, но министерство чрезвычайно ободрилось несогласием Робака на образ действий Росселя. Оно получило надежду, что он вместе с некоторыми другими независимыми либералами будет вотировать против Росселя и что благодаря этому отпадению Россель останется в меньшинстве.

Потому министерство отказалось от мысли об уступчивости, которой хотело держаться. Оно предполагало, пользуясь неудачей Росселя и Пальмерстона в составлении условий, при которых они оба могли бы войти в кабинет, объявить, что, какие бы поправки ни были сделаны при комитетском совещании в его билле, оно ни одной из этих поправок не примет за существенно враждебную. Виги, не имея возможности составить кабинета, должны были бы принять такое объяснение, и торийское министерство, не подвергнувшись формальному порицанию, удержалось бы в кабинете. Теперь тори сделались отважными. Они предположили, что

если объявят свое намерение считать принятие Росселевой поправки за прямое порицание своему биллю, то большинство отвергнет эту поправку, потому что следствием ее при таком объявлении было бы или падение министерства, или распускание парламента. Но было известно, что виги не могут составить нового кабинета, стало быть, необходимо оставаться прежнему кабинету за недостатком другого, стало быть, из двух шансов остается только один, именно распускание парламента; а именно этого опасаются некоторые независимые либералы, стало быть, подадут голос против Росселя.

Настало 21 марта. Все, кто мог, явились в палату общин посмотреть на ход борьбы. Палата лордов, хорошо чувствующая не слишком большую важность свою, посидела в своей зале с небольшим час и поспешила кончить свои бледные прения, чтобы всею массою посмотреть на истинных владык Англии в палате общин. Лордов пришло столько в палату общин, что не достало им мест в назначенной для них галлерее. Каждое заседание начинается представлением просьб, так что лорды успели видеть весь спектакль; просьб было множество, и все по вопросу о реформе, и все против министерского билля. Редкий депутат явился без такого приношения президентскому столу. И торийские депутаты несли, бедняжки, эти смертоносные для них посылки от своих избирателей. Вот встал Россель. Брайт и независимые либералы приветствовали его громкими аплодисментами; не отступившись от своего предложения, он помогал их делу сильнее, нежели сам предполагал, как мы увидим. Пальмерстоновские виги не аплодировали теперь, да и в продолжение речи аплодировали редко, только из приличия. После длинного разбора основных постановлений министерского билля он заключил: «словом сказать, я должен объявить прямо, что билль, предложенный палате, я считаю мерою самого вредного, оскорбительного и опасного характера». Раздались продолжительные аплодисменты. Объяснив, почему предложил только поправку ко второму чтению, а не прямое отвержение билля *, он продолжал: «да, бесполезно передавать в ко-

* Против этого способа действий было много порицаний со стороны тори. Они говорили, что если билль, по мнению Росселя, дурен, то надобно было прямо отвергать его, а не предлагать поправку к предложению о втором чтении. Россель отвечал на это, что в билле есть кое-что хорошее, именно, понижение ценза в графствах, но существенный характер его дурен. Предлагать простое отвержение значило бы вместе с дурным отвергать и хорошее; притом простое отвержение не указывало бы, что именно дурно в билле. «Предложение, мною сделанное, — говорил он, — прямо указывает это дурное и положительно определяет, каков должен быть характер билля, требуемого палатою». Читатель помнит, что предложение Росселя было: «Палата общин думает, что несправедливо и неблагоприятно (political) поступать по способу, предложенному настоящим биллем, с существующим правом фригольдеров иметь голос в графствах, и что палата и нация не удовлетворяются никаким изменением избирательного права, не вводящим в графствах и городах расширения права голоса в размере более значительном, нежели какой

митет этот билль; и замечания, сделанные моим уважаемым другом (Робаком), не заставляют меня изменять своего образа действий. Он говорил, что если мы остановим ход министерского билля, результатом этого может быть распускание парламента, — я не пугаюсь этого. Я думаю, что при вопросе, от которого зависит судьба наша и наших потомков, останавливаться страхом распускания или какой-нибудь опасности, угрожающей нашим иностранным делам, было бы совершенно недостойно нас (браво!). Если наше решение будет противно проекту министров, пусть они поступают, как им покажется лучше. Если они почтут полезным распустить парламент, чтобы узнать мнение народа об этом вопросе, то, — не знаю, как другие, а я не побоюсь этой апелляции (аплодисменты). Пусть они выставят свой билль на всех избирательных эстрадах Англии и посмотрят, какой ответ им будет дан (браво, браво!). И если агитация возрастет от этого, если общие выборы породят требования обширнейшие нынешних, ответственность за то будет на министрах, а не на нас (аплодисменты). А по отношению к опасности, что вспыхнет война, признаюсь, меня очень удивляет слышать и видеть в печати, что присутствие лорда Мальмсбери в министерстве иностранных дел служит обеспечением мира * (хохот). Я вовсе не имею вражды к лорду Мальмсбери; но когда слышу, что его присутствие в министерстве иностранных дел служит обеспечением мира, я спрашиваю себя: где же такой простяк, который поверит этим словам? (браво, браво! хохот). Остается еще одно замечание. Говорят, что я руковожусь интересами партии или своими личными. Я считаю своею обязанностью не обращать внимания на такие обвинения, а идти путем, который мне кажется полезнейшим для отечества

предлагается настоящею мерою». С формальной стороны Россель достаточно оправдал свой образ действий, но существенная причина тут была другая: предложение, сделанное Росселем, скорее могло получить большинство, нежели простое предложение отвергнуть билль. Пальмерстон и его друзья могли бы сказать, что предпочитают известное, верное, хотя не совсем хорошее, совершенной неизвестности; могли бы сказать: вы отвергаете билль, но чем же вы хотите его заменить? Теперь у них не было этого предлога отделиться от Росселя. Притом предложение оставляло министрам формальную возможность оставаться на местах, не распуская парламента. Этим отчасти предупреждалось возражение, что при нынешних обстоятельствах нельзя принуждать министров к отставке или распусшению парламента; можно было сказать: если они сделают то или другое, значит, они не считают обстоятельств слишком опасными, и во всяком случае ответственность должна ложиться на них.

Были и другие возражения против тактики Росселя, о которых мы не упоминаем и которые он также разбирает в своей речи.

* Торийское министерство не так решительно в дипломатических делах, как было бы министерство вигов; притом лорда Мальмсбери осуждают за излишнее расположение к императору французов, а главное, он вовсе не отличный дипломат. Англичане думают, что если бы Англия с самого начала сильнее выказала себя против требований Сардинии и Франции, то опасность войны уже миновалась бы.

(браво, браво!). Никто не станет спорить, что много лет я принимал искреннее участие в этом вопросе». — Лорд Россель в нескольких словах припомнил историю своих усилий по делу парламентской реформы и заключил речь словами: «имея такие убеждения, я не могу не думать, что билль, теперь предложенный, на каждом шагу должен встречать оппозицию, пока наконец он будет отвергнут. Я должен действовать так, оставляя без внимания все обвинения, каким могу подвергнуться (аплодисменты). Об этом великом вопросе реформы я могу сказать, что я защищал его, когда был молод, и не изменю ему теперь, когда стал стариком» (громкие аплодисменты).

Лорд Россель доказал, что министерский билль в деле парламентского устройства составляет не шаг вперед, а шаг назад, и потому должен быть отвергнут. Для ответа предводителю оппозиции министерство выбрало того из своих членов, который пользуется наилучшею репутациею; встал сын лорда Дерби, молодой лорд Стенли, которого торийская партия считает лучшею своею надеждою. Надобно заметить, что лорд Стенли — самый либеральный человек в торийской партии, стало быть, лучше всех понимал, что дело, которое пришлось ему защищать, не совсем хорошо. Говорят, что он вовсе не одобряет билля, составленного его отцом и д'Израэли. Вероятно, он защищался бы не совсем удачно и тогда, если б не случилось происшествия, совершенно не предвиденного; но небывалый в парламентских летописях случай окончательно расстроил молодого оратора. Мы предоставим одной из английских газет рассказать это курьезное происшествие, заметив предварительно, что голос лорда Стенли отличается очень высокими нотами, вроде сопрано.

«Иногда сидишь целый вечер в комнате, не зная, что где-нибудь в углу висит клетка с певцом. Пожилые хозяева дома ведут речь, не возвышая голоса, и птичка сидит спокойно; но вдруг вбегает в комнату юноша, полный жизни и веселья, кричит, смеется, вносит веселость, спор и шум. Веселость заразительна, и Филомела вдруг заливается неудержимым потоком оглушительной радости и симпатии. Чем громче вы говорите, тем пронзительнее становятся ноты птички, пока, наконец, бесперые двуногие остаются побеждены и безгласны перед непокорным маленьким певцуном.

«Ребенок в палате общин, — какое нелепое сочетание слов! Да, настоящий ребенок в палате общин, крикливый ребенок... с таким голосом, которым покрывается всякий другой голос, который внушает внимание к себе собранию этих серьезных людей, и, наконец, по прошествии первой минуты изумления вызывает взрыв хохота у консерваторов, вигов и радикалов, у протестантов и католиков, у оранжевых и ультрамонтанцев, у всех без различия. Это был случай беспримерный в истории палаты общин. Гуси кричали и ослы ревели в этой палате, но ребенок! Пусть истолкователи знамений займутся этим предзнаменованием. Надобно ждать великих событий.

«Я говорил, что лорд Джон сел, и встал молодой лорд Стенли. Голос его был настроен высоко и поднимался все выше. Ведь тут был лорд Дерби, он смотрел на сына, не мог скрыть родительской гордости, не мог скрыть и значительной дозы родительского беспокойства. Палата слушала, и возбудилось внимание даже юнейшего члена толпы высокоуважаемых слушателей. В ту минуту, как замер и малейший шорох, а голос оратора поднялся до высочай-

ших нот гневного упрека, пронзительный звук, в одну ноту с высокою трелью оратора, пронесся из галлерей дам. Это был ребенок!.. У французов есть поговорка: *le ton va plus loin que le mot* *. Этот ребенок не был членом верно-подданной оппозиции ее величества; он не был виновен в увлечении духом партий; он не хотел изгнать мистера д'Израэли и ввести лорда Росселя; он не хотел губить свое отечество, низлагать королеву и водворять республику; но слова президента были строги. Ребенок инстинктивно понял, что какой-то господин упрекает его в капризе и неприличии, и он огорчился несправедливым упреком, и он расплакался.

«В первую минуту изумление подавило все другие чувства. 600 пар глаз направились к позолоченной решетке, за которой сидят дамы. Не могу вам сказать, над чем хохотала палата: над смущением ли мамã или над очевидной причиной невинного крика, или над переменной, происшедшей в молодом ораторе. Палата смеялась; но смеялся ли церемониймейстер палаты? смеялся ли тот член палаты, который узнал в крике сыновний голос и видел церемониймейстера, медленно встающего с кресел с грозным видом и идущего на галлерею с рукою, стискивающею эфес шпаги, и с похвалами памяти доброго царя Ирода? Будем надеяться, что молодой депутат с поблдевшим лицом, побжеавший за гневным церемониймейстером, был отец ребенка и что не произошло несчастья; будем надеяться, что расстроенная и дрожащая мамã, бежавшая по коридору, спрятав ребенка под шаль, не встретила гневного джентльмена со шпагою.

«Но, молодой министр... Палата хохотала, а что делал лорд Стенли? С прискорбием я должен сказать, что он совершенно растерялся. По словам одних, он думал, что младенческий крик был чревоушательскою пародиею его «*zi* выше линеек»; другие говорят, что лорд Джон велел принести этого ребенка с инструкциею ушипнуть его при самом патетическом пассаже. Что справедливо, мы не знаем; но перемена в молодом ораторе была мгновенная: его убила маленькая птичка, вскрикнувшая за дамскою решеткою. Его голос упал на полторы октавы; его декламация потеряла всю пылкость и уверенность».

В самом деле, разнесся слух, что убийственный ребенок был сын лорда Джона Росселя. Это курьезное совпадение довершило эффект писка. Только на другой день выяснилось, каким образом упало такое обвинение на лорда Джона, невинного в злосчастии своего противника: фамилия матери ребенка была Джонс, *Jones' baby* — в произношении это трудно отличить от *John's baby* **, и каждый понял эти слова о лорде Джоне вместо неизвестной мистрисс Джонс.

От этого ли пустого случая, или от того, что лорд Стенли сам плохо верил в свое дело, его речь была неудачна; но в ней заключалось важное объявление: он сказал палате, что министерство почтет принятие предложения Росселя за прямое отвержение билля. Эта решимость была вызвана предложением, которое сделал Робак три дня тому назад. Она поддержана была потом речами нескольких независимых либералов, между прочим Горсмана, располагающего несколькими голосами, и новою речью самого Робака. Она поддерживалась также упорным молчанием, которое сохранял лорд Пальмерстон.

* Тон действует сильнее слова. — *Ред.*

** «Ребенок Джонс» и «ребенок Джона» — по-английски произносится одинаково. — *Ред.*

Четыре заседания уже продолжались прения, а лорд Пальмерстон все еще держался упорного молчания. Очевидно, он выжидал случая, который доставил бы ему возможность сделать маневр против Росселя и спасти министерство от поражения; но случая такого не представлялось, и, скрепя сердце, он должен был, наконец, говорить за предложение Росселя, как требовали его приверженцы. Досада слышалась в каждом его слове; он излил ее на министерство, своим нелепым образом действий заставившее его помогать сопернику. Лорд Пальмерстон — мастер на сарказмы. Он осыпал ими министерство. Смысл его речи был таков: мне очень не хотелось действовать заодно с Росселем, но дела приняли такой оборот, что я должен поддерживать его предложение и сказать моему благородному другу: «ваша поправка мне кажется прекрасной». Зная чувства оратора к его благородному другу и досаду на невозможность действовать против поправки Росселя, палата захохотала и раздались иронические аплодисменты: они ободрили Пальмерстона, видевшего, что депутаты хорошо понимают саркастический тон его слов, и он продолжал: «я полагаю, что ваша поправка достигает своей цели, и совершенно готов поддерживать ее сильнейшим и искреннейшим образом», — депутаты опять наградили ловкий юмор хохотом. Итак, Пальмерстон объявил, что принужден подать голос за Росселя. Исполнив эту обязанность, он дал волю своей досаде на министерство, нерасчетливо объявившее, что принимает предложение Росселя за прямое порицание. Брать назад это формальное уверение, повторенное несколько раз, было уже поздно, и лорд Пальмерстон мог только с самыми язвительными насмешками доказать, что такая храбрость была неуместна для министерства, смиренно переносившего множество неприятных решений палаты. Судя по вашей прежней терпеливости, говорил он министрам, я думаю, что вы поступите вот как; и объяснял палате, как желали бы поступить они, но уже не могут после своего храброго объявления. «Предложение, без сомнения, будет принято; что же тогда сделают министры? Слухи носят различные. Говорят, что министры подадут в отставку. Я этому не верю». Палата громко захохотала над этим ясным намеком на готовность тори переносить всякие унижения от палаты, лишь бы усидеть на своих местах. «Я думаю, что они изменили бы своей обязанности, если бы подали в отставку. Я не прошу их подавать в отставку». Палата опять захохотала над ловким намеком и на жалкий промах министров, и на собственные чувства оратора, который действительно желал бы удержать в министерстве тори, чтобы не впускать в кабинет Росселя. «Я скажу им, как говорил Вольтер о каком-то министре, заслужившем его немилость: я не накажу его, я не пошлю его в тюрьму, я приговорю его остаться на своем месте», — и лорд Пальмерстон стал насмешливо доказывать, что министры не должны принимать немилость палаты за порицание, а должны

вести до конца вопрос о реформе, как бы ни переделывала палата их несчастный билль. «Другие говорят, — продолжал Пальмерстон, — что министры распустият парламент; это было бы нелепостью со стороны консервативного министерства: неужели оно допустит, чтобы во всех избирательных совещаниях подвергнули разбору основания британской конституции?» Лорд Пальмерстон стал доказывать, что распускание парламента было бы гибельно для тори, потому что выборы усилили бы в новой палате партию, желающую радикальной реформы. Палата хохотала над объяснением того, что тори принуждены принять меру самую невыгодную для них, самую приятную для Брайта. «Но нет, этого не будет», — продолжал Пальмерстон и насмешливо перетолковывал слова министров, отыскивая в них готовность переносить всякие неудачи, лишь бы сохранить свои места.

После такой речи бедные тори уже не имели никакой возможности отказываться от своего объявления, что не могут перенести принятие Росселевой поправки: Пальмерстон слишком ясно и язвительно объяснил, что такая терпеливость была бы теперь решительной низостью. Они должны были неподвижно ожидать своей участи.

На этом фазисе борьбы останавливаются подробные известия, полученные нами. Прения продолжались еще несколько дней, но положение партий достаточно определилось в те дни, о которых мы уже рассказали. После речи Пальмерстона было ясно, что предложение Росселя будет принято. Ошибочная надежда на противное заставила министров сделать геройское усилие, чтобы угрозою распускания палаты отвлечь от Росселя нескольких членов, колебавшихся между отвращением от их билля и опасением оставить Англию без парламента в минуту, когда вспыхнет война. Разрыв переговоров Брайта с Росселем о составлении министерства уверил их, что Брайт не будет настойчиво требовать их удаления из кабинета. Неудача попытки вигов примирить Пальмерстона с Росселем заставила их надеяться на покровительство Пальмерстона. К их несчастью, Пальмерстон нашел, что спасти их уже невозможно после их излишней храбрости, и мог только с насмешкою показать им, каким путем они могли бы спастись, но что возвратиться на этот путь им уже невозможно. Им оставалось только или выйти в отставку, или распустить парламента.

Но выйти в отставку они могли только тогда, если бы готово было новое министерство занять их место в кабинете. Неудача переговоров между тремя отделами оппозиции не дала составить новому министерству, стало быть, оставался только один исход — распускание парламента.

Ничего лучшего не мог желать Брайт. Новые выборы необходимо должны усилить в парламенте партию серьезных реформеров, и кому бы ни досталось счастье сделаться первым министром при новом парламенте, Росселю или Пальмерстону, и тот, и

другой принуждены будут в новом парламенте принять для реформы основания более широкие, нежели какие были возможны при палате, распускаемой теперь.

Слухи о войне и рассказы о ходе вопроса парламентской реформы — каждый раз одни и те же темы! — нет ли чего-нибудь нового? Ничего такого, что интересовало бы Европу; все внимание западного континента сосредоточено на итальянском вопросе, а люди, которые смотрят на вещи серьезнее и ждут чего-нибудь хорошего не от шумных столкновений между такими противниками, из которых ни одному нельзя сочувствовать и желать победы, — люди, которые ждут добра только от развития национального сознания и улучшений внутреннего законодательства, с напряженным вниманием смотрят на успехи реформистского движения в Англии, которая и своими внутренними учреждениями, и своим внешним могуществом имеет такое сильное влияние на судьбу западного континента. Один предмет для пустых толков, другой — для серьезной мысли, — кроме того, нет ничего особенно занимательного ни для болтунов, ни для людей рассудительных. Все другие текущие события так мелки, что каждым из них может интересоваться, да и то не слишком сильно, разве та страна, в которой оно происходит. Например, в Германии занимательного так мало, что сами немцы отводят душу только тем, что уверяют самих себя в необыкновенной силе Германии, если она станет действовать единодушно: тогда, уверяют немцы, мы закидаем французов шапками. Иные даже припевают какую-то песню о Блюхере, который будто бы в 1814 году завоевал Париж. Таким патриотам и храбрецам другие немцы, более рассудительные, замечают, что вопрос о закидывании французов шапками зависит от того, каковы будут французы и в каких кокардах кончат они свою войну с австрийцами, если война начнется. Они полагают, что стоит только французам переменить кокарды, и немцы не найдут нужным закидывать их шапками, а начнут подражать французской моде⁶. В доказательство они приводят состояние немецких государств, — состояние в самом деле странное. Последний случай, в котором выразилась эта странность, произошел на днях в Баварии. Впрочем, не думайте, чтобы в Баварии произошло что-нибудь новое, — нет, там в десятый или двадцатый раз повторилось то же самое, что случается уже много лет.

Как в других немецких государствах, так и в Баварии уже давно господствует реакция. Как везде, так и там она довольно долго господствовала, не встречая сильного сопротивления. Наконец, силы общественного мнения стали пробуждаться, и палата депутатов, урезанный остаток так называемых «приобретений борьбы» (*Ergrungenschaft*) 1848 года, — приобретений, надобно заметить, довольно мизерных, и борьбы, надобно заметить, не слишком-то важной, — эта палата депутатов стала просить о замене реакционного министерства Пфортена каким-нибудь дру-

гим, которое не было бы орудием иезуитов и их братии. Пфортен распустил палату. Новые выборы еще усилили противное обскурантам большинство. По правилам конституционного порядка, существующего в Баварии, Пфортен должен был выйти в отставку, потому что на вопрос, им самим предложенный: кого одобряет нация — большинство палаты или его, министра Пфортена? — выборы отвечали, что нация согласна с палатою во мнении о пользе отставки его, г. Пфортена. Он рассудил поступить иначе и опять распустил палату, чтобы не покидать приятного министерского кресла. Выборы прислали еще сильнейшее большинство против него в новую палату. Хоть бы тут ему одуматься и не компрометировать короля. Нет, интересы короля и нации никак не могут сравниться с приятностью занимать министерское место, и палата опять была распущена, чтобы министру Пфортену не покидать своего места. Вся эта история коротко рассказывается на бумаге, а на деле она тянулась целых четыре года. В четыре года, конечно, успело накопиться много раздражения, такого желчного, что даже баварское пиво не могло смягчить сердца добродушных своих любителей. Новые выборы были еще враждебнее прежних, и вот в конце января нынешнего года собралась новая палата, в которой, если не считать 25 чиновников, было всего только 15 министерских депутатов против 105, осуждавших упрямство Пфортена. Думали, что теперь по крайней мере он опомнится и поймет, что не следует ему компрометировать короля для сохранения своей должности. Как судило огромное большинство палаты, т. е. избирателей, о способе действий Пфортена, ясно высказывалось даже в самых пустых делах. Например, депутат Фельк предложил изменить некоторые статьи уголовного кодекса. Комитет палаты, которому поручено было рассмотреть предложение, составил доклад следующего рода: «Предложение основательно и заслуживало бы одобрения; но теперь подобными вопросами заниматься бесполезно, потому что настоящее положение дел только переходное. Министерство по несогласию с прежней палатой распустило ее, выборы возвратили палату с усиленным большинством против министерства. Есть конституционно-монархические государства, в которых, разумеется само собою, при подобном случае министерство выходит в отставку. У нас не так; потому разногласие между правительством и представителями нации может еще продолжаться. Однако же оно так серьезно и благо страны так страдает от его продолжения, что сама собою должна явиться в скором времени потребность помочь этому делу. А пока продолжается разногласие, не следует ни ожидать, ни желать, чтобы палата возвращалась к делу, прерванному в марте прошлого года».

Подобное чувство было выражаемо палатою депутатов решительно при каждом случае. Но министерство держалось системы не показывать вида, что понимает желание представителей нации, и, наконец, палата принуждена была формальным образом

объяснить свои отношения к министерству и чувство порицания, с которым смотрит на него все государство. Случай к тому был подан итальянским вопросом. Пфальцскою провинциею Бавария граничит с Франциею и должна была принять меры предосторожности против угрожающего вторжения французов в Западную Германию. Надобно было назначить суммы для вооружений. Согласие на экстренные кредиты, требуемые министерством, почитается в конституционных государствах одобрением политических принципов министерства, если не сопровождается никакими особенными замечаниями о степени согласия палаты с общим характером управления, получающего ее поддержку в этом частном случае. Палата изменила бы своим убеждениям, если бы оставила возможность истолковывать свой патриотизм, не отступающий перед пожертвованиями, в смысле сочувствия к министерству, и потому она приняла следующий адрес к королю, соединяющий выражение почтительной преданности к его лицу с указанием на ошибки реакционеров, вредящих ему своим властолюбием.

«Указывая на приближающуюся опасность войны, ваше величество требовали денежных средств, нужных для защиты государства. Палата депутатов дала их. Она никогда не побоится жертв, требуемых отечеством. Что бы ни готовила судьба народу, Бавария в неразрывном союзном единстве с другими братскими племенами Германии будет под Виттельбахским знаменем * держать себя соответственно обязанностям, возлагаемым на нее славою прошедшего и трудностями настоящего. Одного недостает Баварии — недостает того, что дает крепость во дни опасности: она лишена благотворного единодушия. При министерстве, которое, забывая королевские слова «свобода и законность», потеряло невознагражденные годы европейского мира и внутренней тишины без серьезной заботы об исполнении обещанных реформ, при министерстве, которое словом и делом поколебало веру в чистое и не лживое понимание государственного устройства и возбудило против себя на борьбу силу общественного мнения, — при таком министерстве для представителей народа нелегка была задача дать из национальных средств миллионы, требуемые для вооружений против врагов. Соглашаясь на это пожертвование, палата депутатов считала неизбежным долгом открыто изложить причины своего решения. Нет мысли, от которой была бы она так далека, как от намерения выразить этим согласием одобрение существующей министерской системы или хотя бы смягчить выражение своего недоверия к тем, которые служат олицетворением этой системы. Палата согласилась на требование потому, что отечество для нее выше всего, и всякая другая мысль должна замолкнуть, когда его священные интересы, его честь и его права требуют необходимых жертв. Палата согласилась потому, что среди печального располо-

* Читатель знает, что в Баварии царствует Виттельбахская династия.

жения умов остается непоколебимою опорою для надежд, основою для народного благоденствия неискоренимая вера в конституционную верность, в патриотическое расположение вашего величества, чувства которого представляют единственный залог лучшего будущего и ручательство в патриотическом употреблении средств, данных патриотизмом. Никакая теория не заставит баварский народ перестать чтить величество вашего трона, недостижимо возвышающееся над переменою принципов ответственных министров *. Никакое омрачение в этой атмосфере, лежащей между королем и народом, не может затемнить блеска короны, священные права которой, служащие основанием порядка, так же неприкосновенны народу, как его собственные права. Наследованная от предков верность вашему величеству, всемилостивейшему королю и государю, и вашему высокому дому явится непоколебимою при всех обстоятельствах, пока между Гартовым хребтом и Рейном, между Рёнбергом и Фихтельбергом и прародительскими Альпами будут жить баварские люди».

Этот адрес был принят палатою 15 марта, и министерство тотчас же решилось поступить по прежней системе: оно частным образом объявило депутатам, что распустил палату, и для этого просило их поспешить окончанием текущих дел. Добродушная баварская верность выказалась и в этом испытании: чтобы не останавливать отправлений административного механизма продолжением борьбы, палата с патриотическим усердием поспешила окончить дела, нужные для правильного хода управления, и по их окончании, 26 марта, была распущена. В декларации о распусчении парламента (Landtagsabschied) Пфортен заставил короля, польза которого требовала бы невмешательства в споры партий, отвечать палате общин суровым порицанием. «Прискорбием исполняет нас (было написано в королевской декларации) взгляд на ход и характер совещаний палаты, в которых до такой чрезмерности превзойдена всякая граница» **. Но депутаты хорошо чувство-

* Читатель знает, что конституционный порядок возлагает на министров обязанность не компрометировать короля и династию вовлечением королевского имени в споры с оппозициею. Читатель также знает, что недобросовестные министры, ставящие свое властолюбие выше интересов короны, постоянно нарушают это правило, соблюдение которого необходимо для непоколебимости доверия нации к монарху. Каждый раз, когда они не могут защитить своих действий доводами государственной пользы, они прикрываются личною волею государя, как недобросовестные секретари прикрывают свои проделки подписью начальника, которому представляют дело в искаженном виде или вовсе умалчивают о важнейших сторонах дела. Так действовали Гизо, Мантейфель, так действует и Пфортен. Читатель видит, что слова палаты относятся к этому способу действий, равно недобросовестному перед королем и государством, вредному для государства, опасному для династии.

** Мы старались передать в русской фразе грамматическую странность немецкого выражения, но оно в подлиннике еще несообразнее с духом нового языка, нежели в переводе: *in welchen so sehr alles Mass überschritten worden ist*. Излишняя старомодность и канцелярская рутина понятий отразилась в каждом звуке этого оборота, принадлежащего XVII веку.

вали, что жесткий выговор принадлежит не королю, а только Пфортену, потому что только министру, а не королю мог быть неприятен их адрес, весь наполненный уверениями в том, что своекорыстная политика министра, пренебрегающего пользами династии для удовлетворения своему властолюбию, не мешает палате и нации сохранять преданность к королю и надежду на него. Палата хотела показать это, кончив свое заседание, по выслушивании обидного порицания, все-таки громкими восклицаниями «да здравствует король!», повторенными три раза. И не только в официальном собрании своем палата выказала это чувство: оппозиционное большинство депутатов, собравшись на дружеский обед перед отъездом из Мюнхена, также встретило теми же громкими криками, повторенными три раза, тост за здоровье короля.

Мы рассказывали баварские события, строго держась взгляда и отчасти выражений немецких газет, переводимых нашими газетами; не знаем, нуждаются ли читатели в замечании, что упреки, которыми осыпают эти газеты Пфортена, так же неосновательны, как похвалы английских газет Поэрио и его товарищам, переданные нами в прошедший раз. Мы получили от некоторых очень уважаемых нами людей упреки за жесткое суждение об ошибках Поэрио. Мы рады этому порицанию, во-первых, потому, что оно показывает благородную силу чувства в людях, его делающих, во-вторых, потому, что оно дает нам случай исправить недостатки изложения, бывшие причиною странного впечатления, вынесенного из наших замечаний некоторыми высокоценимыми от нас людьми⁷. Напрасно они полагают, что основанием наших суждений о Поэрио были его принципы. Одобряем ли мы эти принципы или нет, вовсе не в том дело. Смешно было бы рассудительному человеку сурово порицать кого-нибудь за убеждения, несогласные с его собственными; а если человек, с которым мы не соглашаемся в убеждениях, имеет честные намерения, то жестко осуждать его за несогласие с нами было бы даже неблагородно; а если, наконец, сумма разногласий притом еще незначительна перед суммою понятий, одинаковых в том и другом образе мыслей, то резкость осуждения из-за этих несогласий была бы просто фанатизмом, натуральным и извинительным только в критические минуты, а не при спокойном сочинении более или менее вялой и бесцветной статейки, — качества, которые мы сами советуем заметить нашим порицателям в наших статьях, которыми, право, не стоит обижаться по причине их пустоты, — была бы даже тупоумною пошлостью, которая неизвинительна ни при каких обстоятельствах. Нет; мы говорили не про убеждения, не про образ мыслей. — мы говорили только про образ действий. Каковы бы ни были намерения Поэрио, он нанес много вреда, наделал слишком много бед своему отечеству. И хотите ли знать, отчего наделал он столько бед родине, которую, конечно, горячо любил, для блага которой и жертвовал жизнью и пожертвовал всем лич-

ным своим счастьем? Это потому, что он действовал не логически. Он вообразил, что становится английским министром, тогда как он был в Неаполе. Людовик IX не мог бы исполнить дела, которое, как уверяют нас историки наши, исполнил Петр Великий. Государственный человек полезен только тогда, когда его характер и его образ действий сообразен с обстоятельствами. Кто не понимает, что ему надобно делать в данном положении, или не хочет делать того, что необходимо, тот лучше пусть не становится в это положение, пусть оставит место действовать другим, пусть отойдет в сторону и ждет, пока другие, быть может, менее чистые, если не менее благородные, удовлетворят потребностям времени; и когда будет сделано их руками то, к чему неспособен был он, когда положение очистится и успокоится, — пусть только тогда принимает он власть и вносит в ее действия свою кротость и свою доверчивость к людям. Если вы не хотите грязнить своих сапог, сидите дома, пока грязные дворники чистят улицу, душная пыль которой превращена в грязь грозю. Это время чистки неудобно для прогулок чистоплотным людям: они только будут мешать людям, у которых чистоплотность не доходит до пренебрежения к исполнению дел, нужных для приведения в порядок тротуаров. Аполлон не принимался за очищение Авгасовых конюшен: это дело мог исполнить только Геркулес, во всю свою жизнь только однажды вздумавший пощеголять в чистой рубашке, да и то перед самой кончиной, по совершении всех своих двенадцати подвигов⁸.

Но возвратимся к Пфортену. Мы не говорим о том, каковы его убеждения; мы говорим только о том, что он действительно исполняет роль, играть которую призван. Если роль хороша, не он заслуживает похвалы; если она дурна, тяжесть порицания не должна обрушиваться на него. Быть может, он нарушает форму; быть может, палата депутатов имеет за себя формальную справедливость, указывая в своем адресе на несоблюдение известных формальных условий; мы хотим сказать, что, быть может, Пфортен говорит то, чего по форме ему не следовало бы говорить. Но как же из-за формы не хотят замечать сущности дела? В сущности Пфортен говорил правду, а правдивость всегда похвальна, и если иногда несогласна с принятыми приличиями, то бывают случаи, в которых человек не властен соблюдать условные приличия. Представим, например, такое обстоятельство. Повар подает на стол не то кушанье, которое поручал ему приготовить господин; господин начинает сердиться: извинительно ли повару сказать, что госпожа (которая держит мужа под башмаком) приказала ему изготовить не то блюдо, которого желал господин? Конечно, прислуга не должна посевать сплетен и возбуждать несогласий между мужем и женой; но ведь слова повара не сплетня, а правда, и несогласие не возбуждается ими, потому что они сами — только необходимый результат уже существовавшего несогласия.